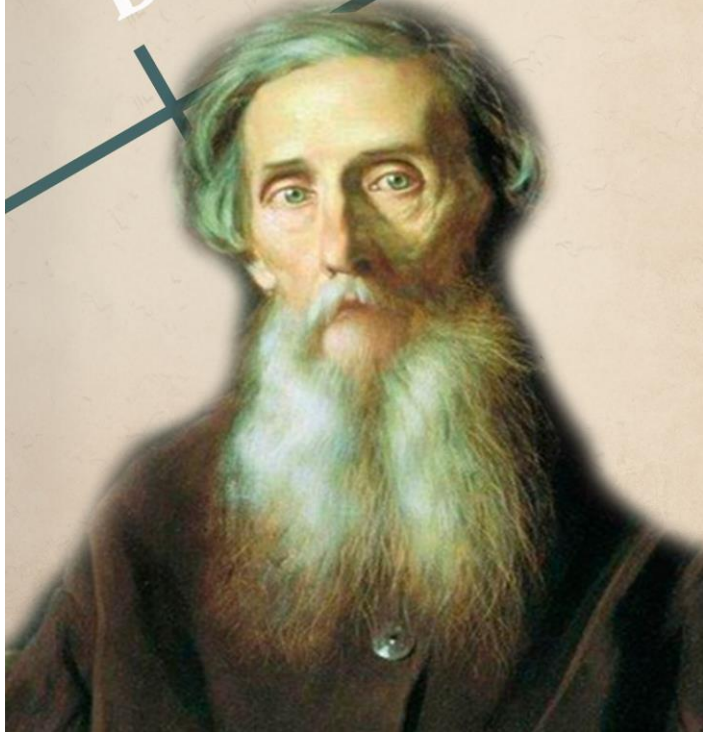




# ВЕСЬ В. ДАЛЬ

РУССКИЕ  
ВЕЛИКИЕ



*Собрание произведений выдающегося русского писателя и ученого Владимира Ивановича Даля (1801 — 1872).*

*В книгу входят увлекательные рассказы и повести о жизни простых крестьян, а также сказки и мистические истории о нечистой силе.*

*Известность Владимиру Далю принесли произведения «Бедовик», «Говор», «Грех», «Двухаршинный нос», «Павел Алексеевич Изгривый», «Фокусник», «Уральский казак», «Хлебное дельце», «Денщик».*

*Владимир Иванович Даль был необычайно образованным человеком — знал двенадцать языков, был член-корреспондентом Петербургской Академии наук и одним из создателей «Русского географического общества». А его знаменитый толковый словарь до сих пор считается одним из крупнейших словарей русского языка.*

# Весь В. Даль

## Бедовик

### Глава I. Евсей Стахеевич еще не думает ехать в столицу

В одном из губернских городов наших, положим хоть в Малинове, настало воскресенье; Евсей Стахеевич Лиров, благовидный, хотя и не слишком ловкий молодой человек, а по чину и званию своему птица невысокого полета, отстояв в пятиглавом соборе обедню, пустился, по неизменному местному обычаю, в объезд по всем лакейским и передним, поехал развозить карточки за собственноручною подписью своею и расписываться у начальников и старших на засаленном листе бумажки.

Евсей Стахеевич вырос в уезде, а ныне, и то недавно только, попал в губернский город; поэтому он и привык уже сызмала ко всем обрядам и обычаям, вошедшим в губерниях и уездах наших в законную силу; но Евсей при всем том никак не мог помириться с этими заповедными объездами, к которым необходимо было приступать снова каждый воскресный и табельный день, то есть до семидесяти пяти раз в году, если не более. Он свято

исполнял этот обряд; но каждый праздник, доставая белый воротничок и воскресную жилетку, пускался снова в рассуждения о бесполезности этого тунеядного обычая.

Евсей Стахеевича беспокоило при этом всего более то, что он не видел этому делу никакого отрадного конца: это бездонная бочка Данаид<sup>1</sup> — и только; даже детям и внукам нашим не будет легче от наших объездов с почтением: мы их работы не переработаем, а им придется начинать, на свой пай, сызнова. Не успел покончить сегодня, отдохнуть день-другой, поработать — принимайся опять за то же, и так до скончания века. «А кто поблагодарит меня за это, — думал Евсей Стахеевич, — кому от визитов моих легче и теплее? Ни посетителю, ни посещаемому, ни гостю, ни хозяину; а между тем нельзя и отстать. Я сам намедни слышал, как прокурор наш, например, попенял, очень недвусмысленно, одному из подчиненных своих за невнимательность эту по службе. „Вы, сударь, — сказал прокурор, — с супругою своею под ручку разгуливаете, это мы видим; а начальства своего по воскресеньям не уважаете...“ Что же тут станешь

---

<sup>1</sup> Бочка Данаид. — Данаиды — дочери аргосского царя Даная; по сказаниям древних греков, в наказание за убийство своих мужей были обречены в преисподней на вечную бесполезную работу — наполнять водою бездонную бочку.

делать? Поедешь, поневоле».

Так рассуждая, Лиров побывал уже у губернатора, вице-губернатора, у начальника своего, председателя гражданской палаты<sup>2</sup>, и был на пути к председателю уголовной. Привычные поездки эти, ответы: «У себя, принимают», или: «Выехали-с, не принимают», а затем столь выразительное шарканье, думное молчание или замысловатый разговор о погоде, поворот налево кругом или молчаливая отдача в лакейской своего доброго имени — все это нисколько не мешало Евсею Стахеевичу продолжать думать и рассуждать про себя, тем более, что он был мастер своего дела, не визитов то есть, а мыслей и думы. Он продолжал круговую по целому городу и продолжал себе думать, не занимаясь мыслями ни на одном пороге.

«И как это глупо, бестолково, бессмысленно, — так думалось ему, — ну пусть бы уже раза два, три в году, коли эго необходимо, коли ведет к чему-нибудь, а то — каждое воскресенье, каждый божий праздник».

«Всякому, без сомнения, глупость эта надоела не меньше моего, а каждый связан и опутан этими тенетами и пеленками условных приличий; спрашиваю: можно ли принять с повального

---

<sup>2</sup> Гражданская палата — губернская инстанция гражданского суда.

согласия общее правило и постановление, которое всем вообще в тягость и никому не приносит пользы? Когда, бывало, учитель сѣк нас в уездном училище, то уверял всегда и приговаривал во все время секуции: „Не я бью, сам себя бьешь“. То же самое хочется мне и теперь высказать иногда хозяину, к которому случится приехать не вовремя. Он морщится, и я морщусь, — а между тем как быть? Коли пойду наперекор обычаям и заведениям, я же буду виноват, потому что по службе нашему брату нет отговорок. И пусть бы еще наш брат, мелочь ездила к начальникам с почтением да на поклон, чтобы на глаза показаться, чтобы не сказали: „Вы по воскресеньям не уважаете начальства“, а то нет, и друг к другу, и к равным себе, и к посторонним, к знакомым и к незнакомым — словом, где только есть ворота да три окна на улицу, туда и заезжай сподряд. И этим-то мы занимаемся каждый праздник от обедни и до самого обеда! А сколько тут еще бывает недоразумений, сколько толков, пересудов, начетов и недочетов, сколько причин к неудовольствиям, обидам, сплетням...» В это время Евсей Стахеевич, в числе пяти других чинов, приветливо и почтительно раскланивался, и шаркал, и нагибался перед супругой председателя уголовной и продолжал себе, нисколько не смущаясь, думать: «Например, объедешь не по чинам, не по званию, как я прошлое

воскресенье приехал вот сюда, побывав уже у полицеймейстерши, потому что туда было по пути заехать, гневаются; или, например, начальник не принимает, да позабудешь записаться, как я же в вербное воскресенье, так уже на тебя смотрит этак, приподняв нижнюю губу, дескать не уважает начальства, зазнается; да, есть с чего нашему брату, подлинно! Или приедешь попозднее, потому что как ни бейся, а ко всем вдруг не поспеешь, да запишешься в конце листа, говорят: важничает, приезжает по-барски, словно к ровне; а приедешь пораньше, на почин, да запишешься на листе в самом заголовке — так и это не по чину, того и смотри, что опять-таки неладно, а норови и попадай в свою артель. Намедни, например, наш советник, приехав к губернатору, вымарал подпись мою и поставил ее под своею; да с сердцов еще так черкнул меня, бедняка, что только брызги посыпались. Что будешь делать! Или, например, войдешь в переднюю да кинешь второпях плащ на какую-нибудь прокурорскую шубу, как случилось это со мною, опять-таки по перстам тебя рассчитают, что с умыслу, да и только. Или, например...» Евсей Стахеевич, распроставшись с уголовного, сидел уже опять на столбовых дрожках своих, как первый член межевой конторы, объезжая его на щегольской паре, поднес словно нехотя руку к шляпе и закричал: «Что это вы опять делаете

сегодня, Евсей Стахеевич? Вы развозите чужие билеты!» Лиров поглядел за ним вслед, опустил руку в боковой карман, достал и развернул пучок билетов и крайне изумился, увидев, что перед ним налицо действительно карточки чужие, всех цветов и величин, с разноцветными каемочками, с позолотою, с цветочками, даже с амурчиками и с восклицательными знаками, по вкусу и выбору господ хозяев. Этого мало: перебирая их, Евсей увидел, что женских билетов было почти наполовину, и один, между прочим, с буквами внизу: р. р. с. — *roug prendre congé*<sup>3</sup>, которые Стахеевич в простоте своей принял за русские и истолковал словами: разъезжаю ровно сумасшедшая. Но наконец Лиров опомнился и спросил кучера своего, который остановился у подъезда одного из советников: «Власов! Где ты взял билетики эти?» Корней Власов Горюнов оглянулся, спросил еще раз: «Которы? Эвти?» — и на ответ: «Да, эти, эти самые», — начал рассказывать преколичественную быль, как вице-губернаторские мальчишки, соседи Лирова, выбирали билетики из сору да стали было раскидывать их по улице, как Власов разогнал пострелов, подобрал билетики, завернул и положил

---

<sup>3</sup> Для того чтобы проститься (формула уведомления об отъезде; франц.).



их на окно барина и, наконец, видно невзначай, подал их сегодня вместо беленьких. Разговор этот у подъезда советника продолжался бы, вероятно, еще несколько времени, если бы полковник Плахов не наехал сзади четверней и выносной<sup>4</sup> мальчишка не взвизгнул пронзительным голосом, которому кучер с высоты козел своих вторил грубым и нахальным басом. Корней Власов продернул скорехонько до угла, а Лиров соскочил тут и побежал, назад к подъезду.

Отпустив поклон и заветное поздравление с праздником, то есть с еженедельным воскресеньем, Лиров стоял у косяка дверей в переднюю, глядел во все глаза на занимательную беседу прокурора с полковником о здравии его превосходительства господина губернатора и ее превосходительства супруги его, о наступающих новых дворянских выборах и ожидаемых по этому поводу новых стачек, разладиц, сплетен, ссор и мировых; об открытом на днях рекрутском присутствии, причем полковник делал кочковатые, резкие, топорной работы замечания, а прокурор с простодушным хохотом уверял: «Слава богу, что эта часть до меня почти не относится, право, ей-ей, слава богу; по крайности избавлен от всякого греха и искушения,

---

<sup>4</sup> Сидящий верхом на передней лошади при езде цугом; то же, что фореитор.

и совесть чиста и спокойна». На все это глядел Евсей Стахеевич, но почти ничего не слышал; у него была привычка, принявшись в раздумье за какой-нибудь предмет, вертеть его во все стороны, обходить его кругом, осмотреть внутри и снаружи, переминать его как жвачку, поколе не спознается с ним, как с родным братом. Поэтому Евсей продолжал думать, как в приемной прокурора, так и усевшись опять на столбовые дрожки свой, таким образом:

«И слава богу еще, что я не член рекрутского присутствия, — это таки само по себе; но слава богу еще, что я не женат. Можно ли вынести равнодушно весь этот бессмысленный быт, эту убийственную жизнь нашего женского круга, этот великолепный житейский пустозвон и пустоцвет!..» Визиты, с большим расчетом и разборчивостью, с осмотрительностью, по чинам, по званию, по служебным обстоятельствам и отношениям мужей и здесь также составляют почти всю лицевую сторону, хазовый конец приятельских и дружеских сношений, то есть, собственно, внешнюю жизнь; на этом вертится все, этому одному посвящают время и безвременье, досуг и недосуг, а остальную часть дня размышляют и советуются о том, кому и какой визит отдать, и когда поехать, и сколько посидеть. Вновь приезжая барыня, или, как ее называют, дама, — а почему бы не краля? — обязана объехать

все тридцать восемь домов, составляющие высшее общество города; младшие по чину, званию, богатству и значению в обществе спешат на другой же день засвидетельствовать ей свое почтение и готовность служить — на первый случай столиком, парой стульев, ухватом, кочергой; равные побывают в течение какой-нибудь недели, а чем барыня выше и почетнее, тем далее откладывает она обратное свое посещение. Между тем все они друг другу, одна одной, и в особенности новоприезжей, смотрят отвесно в горшок и в кастрюлю и чрезвычайно заботятся о том, когда у кого бывает ботвинья, когда щи, суп или борщ; это, так сказать, еще одни цветочки созерцательной жизни их, а ягодки бывают впереди, когда из всего этого выходит наконец огромный клубок или моток сплетен, которых не развяжет и не распутает и сам... «Виноват», — сказал Евсей Стахеевич, взявшись среди улицы за шляпу и думая, что проговорился при людях и вслух. Но как, по-видимому, никто, ниже и сам Горюнов не подслушали на этот раз Евсея, то проказник наш, отправляясь с крыльца на крыльцо, из передней в переднюю, все еще продолжал рассуждать про себя: «Коренные, старые жительницы не менее того обязуются объехать, по крайней мере на святой неделе и в рождество, каждая все тридцать восемь домов и, кроме того, явиться и показаться в

первобытном виде своем после каждого шестинедельного домашнего заключения. Чем благосклонная посетительница выше саном, тем короче так называемый визит ее; иногда в буквальном смысле она успеет войти, чмокнуться, присесть, встать, откланяться и уехать — в полминуты, в тридцать секунд; наемни я видел это сам, поверив по часам своим визит вице-губернаторши. Визиты эти делаются вообще между одиннадцати и двух часов; и в это время в великаторжественные дни четверка за четверкой, пара за парю гонятся взад и вперед, вдоль и поперек по всем улицам и переулкам; все встречаются, здороваются, разъезжаются и спешат развозить билеты свои, покуда еще никого нет дома. Но если вы спросите у советницы нашей, знакома ли она с предводительшей, то она вам скажет: „Нет“, несмотря на то, что они обе честят и утешают себя и друг друга взаимно визитами; знакомы те только, которые ездят друг к другу посидеть. И это знакомство, посиделки, разделяется еще на два разряда: иные навещают друг друга по какому-нибудь первопечально случайному обстоятельству только по утрам и говорят: „Я была у такой-то посидеть утром“; другие — и вот это уже приятельницы настоящие, задушенные — сидят одна у другой по вечерам; это связь самая короткая, тесная, которая обыкновенно обходит поочередно

кругом весь город; мы знакомы; маленькая неприятность расстроит знакомство наше — мы спешим врознь, прижимаясь теснее каждая к новой приятельнице своей, с рассказом странного поведения бывшей подруги, которая не сказала дома, или приняла меня холодно, или там-то сказала обо мне вот то-то; весть о разводной обегает в сутки змейкой и молнией по всем тридцати восьми дымовьям и очагам и наутро возвращается с привесками и отметками на полях к двум бывшим приятельницам, о которых теперь говорят: они уже больше не знакомы. На другой и на третий день после каждой подобной размолвки вы можете держать заклад, что у подъезда той и другой почтенной барыни стоит карета или коляска: это поступившие на упраздненные места подставные подруги; это заботливые искательницы, подружившиеся и поссорившиеся уже, в свою очередь, с уволенною ныне от службы и дружбы подругою; это торопливо услужливые новые приятельницы, утешающие одиночество и сиротство покинутых и обманутых. Новые подруги эти спешат передать вчера только сызнова добытым приятельницам, с коими, впрочем, также когда-то уже были знакомы и опять незнакомы, в приязни, в размолвке и ныне вот опять в самой тесной дружбе, — спешат передать, что говорят об этом в городе. Вот это я называю ягодками, потому что в

них есть и семечки, от которых пойдет дремучий и непроходимый лес новых вздоров или по крайней мере не одна добрая десятина заглохнет бурьянником, репейником и сорными травами».

«А именины? — подумал про себя Евсей Стахеевич, вошедши в низкую, грязную, тесную, заваленную всякими дорожными припасами комнатку состоятельного помещика Козьмы Сергеевича Мукомолова, который только что накануне приехал по домашним делам в город и угощал теперь поздравителей нынешнего дня ангела своего. — А именины? Это уж бог весть что такое! Можно ли ввести во всеобщее употребление обычай — поздравлять весь город своевременно с именинами и дать этому бестолковому тунеядному обычаю силу житейского закона! Другое дело, — продолжал Евсей про себя, раскланиваясь с Мукомоловым и имея честь поздравить его с днем ангела его, — другое дело сходить и поздравить старого приятеля, с которым я давно и коротко знаком, которого люблю и уважаю; а какая мне нужда до именин каких-нибудь ста особ, и можно ли требовать от человека, если он не в комитете по утаптыванию мостовой, чтобы знал и помнил все именины мужей, и жен, и подростков, — чтобы мало-мальски порядочный человек занимался таким бессмысленным вздором? Неужели и в самом деле

обзаводится академическим календарем<sup>5</sup> для того только, чтобы знать, в котором часу солнце заходит в Петербурге, какого вероисповедания папа римский, и чтобы отмечать на пробелах: 10 апреля гремел первый гром, 11-го — именины Кузьмы Панкратьевича, 12-го — Макара Андреяновича?»

— Какая мне нужда, — проговорил Евсей Стахеевич, забывшись, вслух, раскинув руки врознь, — какая мне нужда до именин целого города и могу ли я их знать и помнить?

Проговорив это, Лиров стал как вкопанный и не решался даже поднять шляпу, которую в испуге выронил; он потерялся и вовсе не знал, как отвечать в лад и в меру на приглашение расхохотавшегося хозяина-хлебосола: хоть закусить. Лиров подошел, не помня себя, к треугольному столику, покрытому синею измаранною ярославской салфеткой, у которой четыре измятые продольными складками угла неоспоримо свидетельствовали, что она исправляла также должность дорожного чемодана; робко взглянул на печатные ярлыки S-t. Julien u Lafit<sup>6</sup>, très — qualité<sup>7</sup>, выпил рюмку желудочной и

---

<sup>5</sup> Академический календарь — «Месяцеслов... сочиненный на знатнейшие места Российской империи в СПб, при имп. Академии наук».

<sup>6</sup> Медок, лафит (названия вин; франц.).

<sup>7</sup> Высшего качества (франц.).

потогонной, которую поднес ему сам хозяин, поклонился, схватил шляпу, растоптанную между тем вбежавшим спросонья человеком, выскочил без памяти на крыльцо, едва нашел ошупью и по слуху дрожки свои, едва проговорил: «Домой!» и кряхтел, кашлял, морщился, и отплевывался во всю дорогу, и дышал на ветер, и отворачивался, потому что Евсей Стахеевич от роду в первый раз отведал водки и на этот первый раз закатил полную большую рюмку дорожной отрады Мукомолова, у которого Перепетуя Эльпидифоровна славилась хозяйством своим по всему околотку, лечила по лечебникам Килиана<sup>8</sup> и Енгальчева<sup>9</sup>, как кто

---

<sup>8</sup> Килиан Конрад — лейпцигский профессор медицины, автор многих трудов. В 1810 году был приглашен в Петербург в качестве врача-консультанта при Александре I и здесь через год умер. Полное название его лечебника: — «Домашний лечебник, или Обстоятельное и ясное показание, как во всех опасных, скоропостижных и хронических как наружных, так и внутренних болезнях, при отсутствии врача, можно подать нужную помощь и посредством одних домашних средств и диеты; сверх того, как поступать касательно предупреждения болезней и хранения своего здоровья, и проч.» («Соч. Килиана; пер. с нем. Петр Бутковский, СПб., 1823 г.»).

<sup>9</sup> Енгальчев Парфений Николаевич (1769–1829) — автор лечебника (1799 г.), пользовавшегося большой популярностью и неоднократно переиздававшегося. Полное название: «О продолжении человеческой жизни, или Домашний лечебник, заключающий в себе: средства, как



пожелает, и сама перегоняла тайком от откупщиков спирт и делала желудочную и потогонную, после которой ину пору покрякивал и сам Козьма Сергеевич Мукомолов.

Таким образом кончились на этот раз и визиты и размышления нашего Евсея Стахеевича.

## **Глава II. Евсей Стахеевич думает ехать в столицу**

Надобно, однако же, сказать вам, кто таков был Евсей Стахеевич, и как он попал в Малинов, и прочее. Отец Евсея, или нет, лучше начнем с деда, — дед Евсея был воронежский мещанин, который нажил порядочное состояние скорняжным ремеслом, выучился в зрелых летах грамоте у староверов и стал подписываться: Онуфрий Рылов, тогда как доселе прозвание это, по-воронежскому, полуукраинскому обычаю, изустно произносилось просто Рыло. Поколение меньшего безграмотного брата Михея и поныне осталось при необлагороженном прозвании своем Рыло.

---

достигать здоровой, веселой и глубокой старости, предохранять здравие надежнейшими средствами и пользоваться болезнями всякого рода, с показанием причин и лекарств, почти всюду перед глазами нашими находящихся, составленный из лучших отечественных и иностранных писателей кн. Парфением Енгальчевым».

Но человечество совершенствуется с каждым шагом: у Онуфрия был сын Стахей, воспитанный во всей строгости раскольникового изуверства; да лих не пошло впрок ни воспитание Онуфрия, ни даже нажитое отцом его добро: из Стахея вышел бойкий, разбитной детина, который семнадцати годов уже по грамотной части заткнул за пояс весь Воронеж. Он пошел в конторщики, наследовал отцовскими тридцатью тысячами, был потом секретарем в уездном магистрате, да одолела своекоштная болезнь, пошел пить запоем, месяца по три, по четыре сряду, и держался на месте своем, поколе не издержался; а когда он прокутил и прогулял все, то его устранили, и Стахей, с чином губернского, пытался было еще раза три приютиться, но уже не мог ни устоять на ногах, ни усидеть на месте; и потому, открыв в себе дар сочинять просьбы и писать стихи, Стахей не удовольствовался тем, что давно уже подписывался не Рылов, а Рылев, — это казалось ему и приличнее и благозвучнее, — а уверил себя к тому еще, что прозвание Рылев происходит от украинского Рыле, а Рыле — не что иное, как искаженное Лира; поэтому Стахей и стал подписываться и именоваться впредь отныне Лиров; а послышав в себе от пиитического прозвания этого пиитическое призвание, стал заниматься уже исключительно, только вольным, письмом. И у него была, правда, привычка ставить

точку каждый раз, когда, бывало, захочется понюхать табуку или сказать слово постороннему человеку, а принимаясь снова за перо, расчеркиваться прописною буквою с закорючками; то же самое случалось иногда и посреди слова, если веселая мысль одолевала и душа просилась на простор; но все это не было помехой письменному красноречию Стахея, равно как не мешали этому и перенос слова в другую строку на любой букве, перестановка букв ять и есть, излишнее употребление буквы ъ, которая встречалась в творениях Стахея каждый раз после буквы в как неотъемлемая ее принадлежность, и, наконец, сплошное замещение буквы ферт фитою, потому что фбыла, по мнению Стахея, буква вовсе неблагопристойная. Стахей одевался по воскресеньям всегда очень чисто, писал по заказу просьбы, письма, сделки и договоры, а нередко и стишки вроде следующих:

Офицерик молодой  
С нею время препровел...

Писал, писал, гулял и женился наконец на дочери одной знаменитой просвирни, искавшей зятя, которого бы можно было продержатъ первые две-три недели после свадьбы в бесчувственном состоянии. Сваха взяла ответ и страх на свою

голову и поручилась за исполнение необходимой меры этой, и Стахей, сочинив сам на свадьбу свое премилое поздравительное послание, был форменно учтив и вежлив с невестою своею как на обряде смотрения, на смотринах, так и на помолвке и, наконец, после венца. Что было потом — это он не запомнил; припоминает однако же, что у него болела голова.

Родился сын, был назван Евсеем, рос, обучался в уездном училище грамоте, поступил канцелярским служителем в земский суд, где и происходил чинами; вел он себя отлично хорошо, знал дело и работал неутомимо; наконец после разных приключений был он переведен, по ходатайству председателя, в гражданскую палату. Отца Лирова, Стахея, теща увезла, как необходимую домашнюю утварь, в спой город, где он, по слухам, дошедшим до бедного Евсея, волею божиею помре.

Виноват ли был этот бедный Евсей, что он родился от таких родителей? Но свет этого не разбирает; у него как на визиты, которые Евсей наш так от души ненавидел, так и на всё свои обычаи, условные приличия, уставы и обыкновения. Светские предрассудки, которые вырастили, вспоили и вскормили нас, так всеильны, что и читатели мои готовы откинуться от сына распутного магистратского секретаря и дочери

просвирни, как будто он может отвечать за грехи предков своих! Разве мало дела человеку держать ответ за себя?

Евсей Стахеевич был необыкновенно честный и трудолюбивый человек, то и другое по какому-то редкому врожденному свойству, в котором не мог отдать ни другим, ни себе самому отчета. За это благородное, бескорыстное направление духа он был обязан... но об этом после; довольно того, что мысль и чувство вложены были в него природою, а развиты женщиною. Под всегдашним гнетом судьбы и людей, в неравной борьбе своей с людьми и с судьбою Евсей, несмотря на здравый ум свой и необыкновенное терпение, был несколько малодушен; он вырос и возмужал в каком-то уничижении: обстоятельства не дали развиваться в нем силе и самостоятельности. Он был тих, скромн, потворчив, робок и до того снисходителен, что, казалось, не видел ничего там, где присутствие его могло быть для других обременительно, не слышал ни слова, если около него происходил разговор, который мог или должен бы ввести разговаривающих в краску. Слоном, Евсей был обыкновенно самый безвредный свидетель. Что он видел, слышал, то знал про себя, про себя об этом и рассуждал и не поверял никому на свете чужих тайн. Он сам был честен, благороден, добр, но он никогда не искал этих

своих свойств и качеств в других, никогда не удивлялся, если находил противное. Если он не проговаривался вслух, что случилось, впрочем, с ним не слишком часто, то никому ни в чем не мешал и никогда не прекословил. Ко всему этому привык он еще с тех инстанций, где вокруг него нюхали табак, доставая тавлинку из-за голенища, и где для хозяйственного сбережения должность клетчатого платка нередко исправляли бумажные обрезки.

Заметим, как дело у нас на Руси не последнее, в особенности коли речь идет о чиновнике, что Евсей был человек грамотный; он писал самоучкой ясно, просто, гладко, коротко и даже довольно сильно. Если бы вы увидели его, как он робко и несмело подавал председателю своему для подписи бумаги своего письма, и если бы иногда прочитали одну из бумаг этих, то изумились бы видимой наружной противоположности сочинителя и сочинения. Но Евсей писал так же смело, как думал про себя, а вслух выговорить не осмелился бы и сотой доли того, что писал. При всем этом он не требовал и не ожидал от других такой же грамотности. С невероятным благодушием читал и понимал он донесение исправника, что «такой-то противозаконно застрелился, отчего ему от неизвестных причин приключилась смерть; а при освидетельствовании оказалось: зубы частью

найлены близ науличного окна, прочие же челюсти как будто из головы вовсе изъяты и находятся на отверстии лба; потолок на второй половине прострелен дыроу, имея при действии своем напряжение на север, ибо комната эта имеет расположение при постройке на восток»<sup>10</sup>. Или что «такой-то, едучи на телеге по косогору, при излишнем употреблении горячих напитков споткнулся и от нескромности лошади был разбит»; что «такой-то от тяжких побоев, не видя глазами зрения, впал в беспамятство»; что «в таком-то уезде статистических сведений не оказалось никаких, о чем и имеет счастье всепочтительнейше донести», — и прочая, и прочая, и прочая; все это, а иногда и хуже того, читал Евсей и понимал по навыку; никогда вслух не жаловался на бессмыслицу и думал только иногда про себя, если не мог вовсе добиться толку, а принужден был, не переключывая таких речей и оборотов на русский язык, держаться одних бессмысленных слов и передавать их в этом же виде и порядке, — думал только иногда: «Создатель мой! Для чего люди не пишут запросто, как говорят Евсей Стахеевич, конечно, никогда не ожидал, что через несколько лет после этой скромной думы, собственно ему

---

<sup>10</sup> Для любопытных я храню донесение это в подлиннике. (Прим. автора.)

принадлежащей, явится столь знаменитый поборник разговорного языка. (...знаменитый поборник разговорного языка... — Это примечание отсутствует в журнальном тексте. Подразумевается здесь известный в первой половине XIX века реакционный журналист О. И. Сенковский, писавший под псевдонимом Барон Брамбеус. Он усердно пропагандировал введение разговорных элементов в литературный русский язык и чрезмерно ими уснащал собственные произведения. В 1835 году Сенковский выступил в редактируемом им журнале „Библиотека для чтения“ (том 8, кн. 1) со статьей-фельетоном, где в острой полемической форме ратовал за разговорный литературный язык. Статья называлась: „Резолюция в челобитную сего, оного, такового, коего, вышеупомянутого, вышереченного, нижеследующего, ибо, а потому, поелику, якобы и других причастных к оной челобитной по делу об изгнании оных, без суда и следствия, из Русского языка“. // А. С. Пушкин, в общем благожелательно отнесшийся к этой статье, писал в „Письме к издателю“, напечатанном в „Современнике“, том III за 1836 год: „Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать



единственно языком разговорным — значит не знать языка“ (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, издание АН СССР, 1949, том VII, стр. 439.) Впрочем, хотя и тот и другой, один мысленно, про себя, другой громко, гласно и всенародно, советовали писать, как говорим, но понятия их об этом разговорном языке, как видно, не совсем согласны. Смею поручиться, что Евсей Стахеевич никогда не писал так, как пишет и даже печатает знаменитый совместник или соревнователь его; сей последний смело может приписать разговорный язык свой собственно себе, не уступая никому, ни даже Евсею Стахеевичу, ни былинки, ни пылинки своего изобретения, (Прим. автора.)], и выбиваются из сил, чтобы исказить и языки смысл! Почему и за что проклятие безграмотства доселе еще тяготеет на девяти десятых письменных и как это объяснить, что люди, которые говорят на словах очень порядочно, иногда даже хорошо, по крайней мере чистым русским языком, и рассуждают довольно здраво, как будто перерождаются, принимаясь за перо, пишут бестолочь и бессмыслицу, не умеют связать на бумаге трех слов и двух мыслей и ни за какие блага в мире не могут написать самую простую вещь так, как готовы во всякое время пересказать ее на словах? Почему это общий наш недостаток, что мы пишем гораздо хуже, чем говорим, и

исключения из этого общего правила так редки? Отчего не только люди маленькие и темные, а порядочные, неглупые и деловые, не только заседатели, которых бог простит, а, например, и сам даже...» — Евсей оглянулся и продолжал думать тише прежнего — а что, неизвестно: голова его сомкнулась, и мысль замерла в ней, как дерзкая мошка в цветке недотроге.

Нам, однако же, за отрывистыми и уносчивыми думами Евсея Стахеевича не угоняться; остается еще только сказать сверх всего, о чем мы уже знаем, что бедного Евсея преследовала, казалось, с давних времен какая-то невидимая вражья сила. Евсей так к этому привык, что никогда беде своей не удивлялся, никогда не равнял себя в этом отношении с прочими людьми, считал себя каким-то пасынком природы и с покорностью подставлял повинную свою мечу и секире: но тогда меч и секира его щадили и дело принимало обыкновенно более смешной, забавный оборот. Есть же такие бедовики-неудахи на свете! Мелочные отношения суетной жизни, обычаев, обрядов и приличий беспрестанно сталкивались с Евсеем — или он с ними — локоть об локоть и выбивали его из привычной колеи. Губернатор любил его как работающего, делового чиновника, употреблял его нередко, когда он, Ли-ров, служил еще в губернском правлении; но и губернатор не

понимал его и, следовательно, не мог оценить. А к какому роду из числа высших гражданских сановников принадлежал и сам губернатор, это видно из следующего происшествия, относящегося также к числу неудач нашего Евсея. Лирову было однажды поручено следствие; он его окончил совестливо, разобрал и очистил пресложное, запутанное дело и ждал спасибо. Но пронырливые ходатаи успели понаушничать наперед, оборотить губернатора лицом в лес, а затылком в чистое поле, и Лиров, воротившись и пришедши с донесением, встретил угрюмое чело, в котором одна знакомая его продольная морщина, проходя косвенно к правой брови, показывала неудовольствие. Оно так и вышло.

— Ваше прев-во, — сказал Лиров, чувствуя себя в полной мере правым и собравшись с необыкновенным духом, — ваше прев-во, позвольте мне объясниться; отношения мои к вашему прев-ству всегда были доселе самые откровенные; я имел счастье пользоваться...

— Какие отношения, сударь, — спросил губернатор, приподняв густые брови на целый вершок, — какие, сударь, отношения? Я думаю, рапорты!..

И бедный Евсей, вздохнув и прикусив язык, замолчал, не оправдывался, не объяснялся и вовсе даже не удивлялся этому неожиданному обороту

отношений своих к губернатору; казалось, Евсей был уже готов всегда и во всякое время услышать это или что-нибудь подобное. Этот случай рассказал я для примера, как судьба играла обыкновенно Лировым, и подобная удача ожидала его на каждом шагу.

Между тем председатель гражданской палаты выходил Лирова себе; здесь также шло довольно хорошо; Евсей был счастлив, как вдруг опять случилось вот что: гражданская палата, по малому числу дел, была соединена с уголовною, как и доньше, например, в Астрахани; поэтому Лиров, оставшись за штатом, был уволен в отставку с выдачей ему единовременного годового оклада жалованья.

Лиров носился мыслями бог весть где, но сидел уже целую неделю после отставки в Малинове и не знал, на что решиться. В таком положении были дела, когда дворянский предводитель дал вечер по случаю избрания его на второе трехлетие: событие, непосредственно связанное с понятием об анненском кресте; и предводитель созвал весь город, а в том числе и отставного чиновника гражданской палаты — пригодится.

И он явился и стал скромненько в углу, и опять, по всегдашней привычке своей, молчал, и обходил взорами кругом все собрание, и

раскланивался, и думал про себя так:

«Сошлись все в одно место, или съехались, потому что в Малинове ходят пешком только прачки и кантонисты, — съехались в одно место, а глядят врознь. Да, люди — это настоящее китайское: сложи да подумай, casse-tête<sup>11</sup>; казалось бы, и не мудрено сложить да пригнуть полдюжины треугольничков, четырех-угольничков. — да нет: угол за угол задевает, ребро попадает на ребро — не укладываются! Горе, да и только». Потом Евсей, у которого, как у всех чудаков этого разбора, мысли и думы метались иногда с предмета на предмет без всякой видимой связи или сношения, вздохнул, окинул глазом собрание и еще подумал: «Давно сказано, что в лице и в складке каждого человека есть сходство с каким-нибудь животным; но и по душе, по чувствам, по норову и нраву все мы походим на то либо другое животное. Вот, например, лошадь: коли кормишь ее овсецом да коли кучер строг, — работает хорошо, везет; но лягается, если кто неосторожно подойдет, и обмахивает мух и мотает головой. Вот легавая собака: знает немного по-французски, боится плети, и поноску подает, и чует верхним чутьем, и рыскать готова до упаду; вот...» «Мое почтение, — сказал Евсей, нижайше откланиваясь, — мое почтение,

---

<sup>11</sup> Головоломка (франц.).

Петр Петрович», — и думал про себя; «Вот кошка! Гладок, мягок, хоть ощупай его кругом, кланяется всем, даже и мне, гибок и увертлив, ластится и увивается и сладко рассуждает хвостом, — а когти в рукавицах про запас держит... А вот борзой: ни ума, ни разума, а как только воззрится да увяжется, так уже не уйдешь от него на чистом поле, разве только в лес — там ударится об пень головою да остановится. А вот настоящий бык: дороден, доволен и жвачку жует, а работает, словно воз сена прет, пьет по целому чану враз... А вот это хомячок; то и дело в свое гнездышко, в норку свою запасец таскает, все, что ни попало, — в норку, да и сам юркнул туда же, и след простыл. А вот и коршун: это суцая гроза крестьян, этот советник казенной палаты; ни курица, ни утица не уйдут от него на мужицком дворе: видит зорко и стережет бойко — это коршун... А это скопа<sup>12</sup>, иначе назвать его не умею; скопа он за то, что хватает все и где попало: и с земли, и с воды, и рыбу, и мясо — где что найдется».

«Можно даже, — подумал Евсей, — взять один известный род или вид животных, богатый породами, и сделать такое же потешное применение. Например, не во гнев сказано или

---

<sup>12</sup> Скопа — птица семейства сокольных, питающаяся, подобно чайке, рыбой.

подумано, — собаку. Вы найдете в числе знакомых своих мосек, медеянских, датских собак, ищейных или гончих, найдете мордашек, которые цепляются в вас не на живот, а насмерть; таксика или барсучью, которая смело лезет во всякую норку и выживает оттоле все живое; найдете дворняжек, псовых, волкодавов, шавок и, наконец, матушкиных сынков, тонкорунных болонок; а легавого и борзого мы, кажется, уже нашли: вот они, один причувает что-то, раздувает ноздри, другой скучает, застоялся, сердечный, а гону нет».

Евсей Стахеевич повел глазами по красному углу, по хазовому концу гостиной, где Малиновские покровительницы сияли и блистали шелком, бронзой, золотом, тяжеловесами<sup>13</sup> и даже алмазами, и еще подумал про себя: «А женский пол наших обществ, цвет и душу собраний, надобно сравнивать только с птицами: женщины так же нарядны, так же казисты, так же нежны, легкоперы, вертлявы и голосисты. Например, вообразим, что это все уточки, и посмотрим, к какому виду этого богатого рода принадлежит каждая: председательша наша — это кряковая утица, крикуша, дородная, хлебная утка; прокурорша — это широконоска, цареградская, или так называемая саксонка; вот толстоголовая белоглазая чернеть, а

---

<sup>13</sup> Тяжеловес — старое название топаза.

вот чернеть красноголовая; вон докучливая лысуха, которая не стоит и заряда; вон крохаль хохлатый, вон и гоголь, рыженький зобок; вон остроносый нырок, или запросто поганка; вон красный огневик, как жар горит и водится, сказывают, в норах в красной глине; а это свистуха, и нос у нее синий; а вот вертлявая шилохвость! Ну, а барышни наши — все равно и это уточки; вот, например, рябенький темно-русый чирочек; вот золотистый чирок в блесточках; вот миленькая крошечная грязнушка, а вот луточек, беленький, шейка тоненькая, с ожерельем самородным, чистенький, стройный, красавица уточка; вот к ней подходит и селезень, который за все победы и удачи свои обязан гладеньким крылышкам да цветным зеркальцам, коими судьба или наследство его наделили! Он берет грудью, как сокол, потому что, независимо от вишнево-лилового фрака, жилет его — неизъяснимого цвета, нового, какого нет в составе луча солнечного, и палевые к нему отвороты и серебряные пуговички с прорезью составляют главнейшие наступательные орудия разудалого хвата. Конечно, вихор и расчищенные по голове дорожки и изящная отчаянная повязка бахромчатого ошейника немало способствуют успехам его; но победоносный знает неодолимую силу своей жилетки и поэтому ходит обыкновенно по залам — видите, как теперь, заложив большие



персты обеих рук за окраины рукавных жилеточных проемов и придерживая очень искусно шляпу свою правым локотком. Молва идет, что он и умывается даже в перчатках. И с каким самоотвержением и душевным удовольствием подает он дружески руку свою, всегда первый, если, как теперь, встречается с человеком в чинах и в крестах! Это не то что, например, Иван Ефимович, советник уголовной, — тот всегда не доверяет, кажется, и приятелю, и глядит каким-то следственным приставом, и протягивает руку, словно пистолет, вот этак...» Евсей Стахеевич, забывшись, вдруг протянул руку свою, как протягивает ее Иван Ефимович, и пырнул в бок проходящего со всего разгону лакея с огромным подносом. Лакей повихнулся, едва не уронил подноса, с удивлением и недоумением взглянул на Евсея Стахеевича, который препочтительно перед ним раскланивался и извинялся.

— С такими странностями мудрено служить в губернии, — сказал какой-то остряк вполголоса, — надобно ехать в столицу, себя показать и на людей посмотреть.

Евсей слышал это; нисколько не думая сердиться, он повторил про себя: «В столицу!» — и новая мысль блеснула молнией в замысловатой голове его. «В столицу? — подумал он. — В столицу — нет, совсем не для того, чтобы чудаку

или бедовику было место в столице, а так просто, как ездят туда и живут там другие люди, — что, если бы я съездил и нашел там местечко? Что, если мне там повезет, если найду могучего покровителя... Ведь я теперь вольный казак, единовременного жалованья на прогоны станет, — что, если бы?»

Между тем Малиновские молодцы отплясали уже не одну французскую, охорашивались, однако ж, еще и выправляли плечи, между тем как девицы, которые, как вы знаете, всегда и везде милы и любезны, стояли махровыми пучочками и прохаживались, сплетаясь цветистыми, пестрыми веночками. Неужели же, спросят может быть, кроме девиц, которые так милы и любезны, все прочие жители и служители Малинова были одни животные, какими писало их своенравное воображение Лирова? Совсем нет, друзья, но дело в том, что у нас у всех, не только у Малиновских жителей, свои причуды, странности, недостатки и пороки — у одного более, разумеется, у другого менее. Если вы, вошедши на этот раз в состав китайской игры, о которой я упомянул, усаживаясь и размещаясь, попадете на беду локтем на локоть, упретесь коленом на колено, ребром в ребро, — ну, тогда беда; соседи ваши для вас не годятся, как и вы для них; нет сомнения, что можно бы разместить всех нас и так, чтобы углы за углы не задевали.

Едва ли есть такой негодяй на свете, которому бы не было приличного и сродного ему места. Возьмите людей с одного конца, посмотрите на них с известной точки — все негодяи, все животные, один — меньше, другой — больше! Подойдите с другого конца, рассмотрите с иной точки — все люди, а иные, право, люди очень порядочные. Что же, наконец, собственно до девиц, то это статья иная; Евсей Стахеевич, при всей видимой неловкости и нелюдкости своей, кой на что нагляделся и кой до чего додумался. Он был того мнения, что девицы все милы, все любезны, потому, собственно, что они девицы; что на них смотреть должно вовсе с иной точки зрения и на одну доску с другими людьми не ставить; почему? — потому что они — ундины; свойства и качества придут со временем, когда придет душа. Вот какой чудак был наш Евсей! Но он слышал или читал где-то финскую либо шведскую пословицу, которую припоминал часто и никак не мог выбить из головы, хотя она нередко ему досаждала. Пословица эта гласит: «Все девушки милы, все добры — скажите же, люди добрые, отколь берутся у нас злые жены?» А в самом деле, господа, откуда берутся у нас злые жены?

Поймав вовсе новую для него доселе мысль о возможности поездки и службы в столице, где в мечтах открывался ему новый мир, Лиров уже не

расставался с нею во весь вечер, и на что бы он ни глядел и что бы он ни говорил, а думал все одно и об одном. Когда же наконец знаменитый съезд кончился, пыльные лица, мутные с поволокой очи, усталые ноги, расклепавшиеся прически и помятые кружева и блонды стали убедительно проситься домой, на отдых, то Лиров накинул плащ свой наизнанку, забыл и оставил в прихожей калоши и подумал про себя: «Еду». Слово «еду» отозвалось так ясно и положительно во всем составе тела Евсея Стахеевича, что он, испугавшись, оглянулся кругом; но, по-видимому, слово это сказано было не вслух или гостям было не до него: все озабочены были одеваньем и обуваньем; отрывистым тонким голосочкам: «Мой салоп, ваш клок<sup>14</sup>, платок» вторили тенором и басом: «Шинель, плащ, калоши», лакеи у подъезда звонким голосом запевали: «Такого-то карету!», на улице то тут, то там подхватывали: «Здесь!» А между тем уже кучера и выносные резко и зычно кричали и заливались, отгоняя впотьмах быстроногих пешеходов из-под лошадей. Спокойной ночи!

---

<sup>14</sup> Клок — плащ, вид верхней женской одежды.

### Глава III. Евсей Стахеевич подмазал повозку

Нам надобно познакомиться теперь с новым чудаком, который связан был с Евсеем узами дружбы и службы: это Корней Власов Горюнов, который за восемьдесят рублей на монету в год, выговорив себе еще товару на две пары сапог да головы и подметки, служил Евсею Стахеевичу верою и правдою, как прослужил двадцать пять лет в Семиградском пехотном полку. Корней ходил за барином в комнате, варил ему щи да кашу, по воскресным дням подавал и пирог, а иногда и битки, которые выучился готовить в походах, по недостатку поварского стола, на любом колесе, на шине полкового обоза. Корней ездил за кучера, как сам он выражался, стирал белье и отмечал сверх того мелком под полкой все расходы и приходы барина своего, который в этом отношении был безграмотен и верил всегда Власову на слово, когда этот, пересчитав и похерив все черточки свои по десяткам, приходил докладывать, что деньги все и расход верен. И в самом деле, Корней Горюнов был в одно и то же время честнейший человек, благороднейшая душа, и плут и мошенник. Он скорее готов был прибавить свою гривну, если никем не поверяемый меловой счет под полочкой у него не сходился, чем утаить грош у барина своего;

но обмануть постороннего человека, обсчитать торговку, даже стащить что-нибудь на стороне при какой-нибудь крайней нужде — этого он вовсе не считал за грех, не называл воровством. Вор и мошенник в глазах его были люди презренные, и Корней был бы готов полезть с вами на драку, если бы вы стали уверять его, что и он бывал когда-нибудь вором и плутом. Он сам рассказывал, когда хвалился, что служил в полку верой и правдой, отродясь не обманывал начальников своих, — сам рассказывал, что считал непременною обязанностью украсть на дневке деревянную ложку или разбить горшок, если хозяин его дурно накормил. Но зато, напротив, разговаривал он с мужиком, у которого был на постое, и особенно с хозяйкою, чрезвычайно вежливо, нередко честил его «вы» и «почтенный», если хорошо кормили, и тогда уже старался угодить и отблагодарить чем мог; и если ложка эта была ему необходима, то он отправлялся за нею на другой конец села. Кого Корней признавал другом, приятелем, товарищем или начальником своим, того берег и стерег пуще, чем себя самого и свое добро; но зато всех прочих признавал он неприятелями, в военном смысле, куда причитались некоторым образом и все чужие и незнакомые ему люди. С этими-то понятиями согласовались и все действия и поступки Горюнова. Евсей Стахеевич так привык к дядьке своему, что

не мог без него жить, и ничего не делал, ни за что не принимался, не посоветовавшись наперед с Корнеем Власовым. И Корней Власов никогда не призадумывался, всегда советовал и подкреплял советы свои поучительными примерами и привык держать барина своего в руках, хотя ни он, ни сам барин этого не замечали. Вот почему необыкновенная решимость Евсея Стахеевича, которая, казалось, низошла на него вчера вечером каким-то наитием, поколебалась; он почувствовал, что надобно сперва посоветоваться с Корнеем Власовым, который тогда только беспрекословно соглашался с предположениями барина своего, когда они непосредственно относились к уменьшению расходов и сбережений барской казны; в противном случае Корней Горюнов объявлял без обиняков, что это «пустяки, сударь», и подкреплял решительный отказ свой присказками и разной бивальщиной. Так, он недавно еще не пустил барина своего на какую-то загородную пирушку или гулянье, куда был приглашен и Лиров; не пустил потому, что и это также были «пустяки», на которые требовалось из казны ведомства Корнея пять рублей. Власов в продолжение шестилетней службы своей при Лирове мог бы, казалось, убедиться, что барин его не только никогда не пьет лишней рюмки вина, но что обыкновенно не пьет его вовсе; несмотря,

однако же, на это, Горюнов всегда увещевал барина своего не пить, понимал слова «гулянье», «пирушка», «вечер» по-своему и говорил: «Что толку в гулянье этом? Только что деньжонки рассоришь, там еще завтра и голову разломит, а надо идти на службу». Так рассуждал Горюнов и тотчас же подводил примеры: «Вот у нас в полку был такой-то и сделал то-то» и прочее. Если же самому Власову раза два-три в год действительно случалось погулять, то он винился уже беспрекословно и вслед за тем предлагал барину своему повеселиться с товарищами и приятелями, уверяя, что денег еще осталось довольно, а треть на исходе и скоро будут выдавать жалованье. Корней нужды мало до того, что барин его во все шесть лет службы при нем, Корнее, не веселился с товарищами и приятелями ни одного раза; что он никогда не бывал на попойках и вел без всякого принуждения самую трезвую и воздержную жизнь. Корней обо всем держался своих понятий и думал: «Ну, благодаря бога, вчера не пил и нынче не пьет, а что завтра будет — бог весть!» Когда же Лиров журил порядком старика, даже и за то, что этот изредка погуливал, журил и спрашивал: «Как же ты в полку служил, Власов, неужели ты и там так же пил?» — и на ответ: «Всяко бывало», продолжал: «Да как же ты, старый хрыч, не боялся, ведь там бьют за это?» — то Корней Горюнов объяснял



бесстрашие свое таким образом: «Первую выпьешь — боишься, вторую выпьешь — боишься, а как третью выпьешь, так и не боишься». Но у Корнея Власова была одна еще слабость, на которую Евсей Стахеевич при нынешнем предприятии своем крепко надеялся: страсть к походам и разъездам. Корней не любил засиживаться на одном месте и в былое время охотно снарядил барина своего в путь из уезда в уезд, а наконец и в губернский город. «Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше, — это была любимая поговорка Горюнова. — Мы, слава богу, не мужики, не приросли к земле да к избе, а видывали свету не только что в окне». Поэтому Евсей и предложил ему смело и прямо умысел свой, и вот каким образом и с каким успехом.

Лиров. А что, Власов, поедем в столицу?

Власов. Куда, сударь? В Питер? Извольте, поедем; известно, человек ищет, где глубже... тово, рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. А знатный город, уж сущая, сударь, столица. Мы и сами ездили с покойным барином, как последние четыре года службы жил я в денщиках, так стояли мы там, в Питере, по набережной: вот этак начальствующие генералы, этак мы, а вот этак прочие господа.

Лиров слышал только: «В Питере», а более ничего не слыхал. Одно слово это сбило его с пути

и с ладу; он по привычке своей пустился думать и позабыл уже, о чем было заговорил; а Власов, которому обычай барина не мешать старику разговаривать чрезвычайно нравился, Власов долго еще продолжал разговор свой один.

«В Питере», — подумал про себя Евсей, стараясь доискаться, почему слово это его так озадачило, и наконец опомнился и успокоился, когда сообразил, что он о Питере и не думал, а думал только о Москве. В Питер! Почему же не так?

— А разве в Питере, — спросил он Власова, — разве там лучше, чем в Москве?

Власов. Как же, сударь, не лучше! В Москве только что купцы богатые живут да дворяне, а в Питере все большие господа. Да и лавочки, например, в Питере мелочные и овощные лавки почитай что в каждом доме есть, все что угодно, все найдешь, дальше угла и не ходи, и, пожалуй, еще на фатеру тебе принесут; а в Москве уж этого нет: там далече до всего, и все посылают, вишь, в город<sup>15</sup>; а это что самая ни на есть Москва, это у них, стало быть, и не город.

---

<sup>15</sup> Городом (Китай-городом) раньше назывался торговый центр Москвы — торговые ряды с Гостиным двором (где теперь находится ГУМ), Никольская (ныне улица 25 Октября), Ильинка, Варварка с пересекающими их переулками.

Лиров. Да в Питере, говорят, трудно добиться до места.

Власов. Отчего трудно? Пустяки. Вот у нас в полку майор вышел в отставку, поехал, и ничего, и слава богу живет. Вот и капитана одного у нас из полка перевели в Образцовый полк<sup>16</sup>; как приехал, так и определили его, и служил себе. Там только обыкновенно уже известно, коли приедет кто, коли из военных, так в ордонанс-гауз, к коменданту, отбирают подорожную, уж там ее и ищи; а коли из гражданских, так туда, в канцелярию генерал-губернатора, там уж и будет, Лиров. Я говорю, Корней, что в Питере нашему брату трудно добиться до чего-нибудь, коли не привезешь с собою каких писем да не заступится большой человек.

Власов. Да уж на это, сударь, нет чуднее Москвы: там, уж и сам наш полковой аудитор сказывал, а он из писарей был пожалован, и сказать уж, что грамотный человек и свету повидал, — так он, вишь, сказывал, что чужому человеку в Москве нет и ходу: все одни племяннички, говорит, служат; и на мое, говорит, место определили какого-то цыганенка аль калмычонка, что ли, что вышел от

---

<sup>16</sup> Образцовый полк. — Так называемые образцовые кавалерийский и пехотный полки входили в состав Гвардейского корпуса и дислоцировались в Петербурге.

больших господ; так и определился, говорят, с собачонкой, которая табак нюхала; так, говорит, нюхала, что, бывало, покою не даст, поколе ей не отсыплешь. Шавка, говорит, была белая вся.

Такой неожиданный оборот дела поставил Евсея в крайне затруднительное положение, он не знал, на что решиться. Мысль об одной Москве уже кружила ему голову, так что когда Корней подал щи да кашу, а Лиров достал без всякой надобности часы из кармана и поглядел на них, не заметив вовсе, который час, то вслед за тем поднес было часы эти ко рту и едва не перекусил их пополам, воображая, что держит в руках ломоть хлеба. А теперь две столицы, как два сказочных видения, обетованные призрака, манили его направо и налево, и обе таили под золотыми сводами и расписными потолками своими грядущую судьбу нашего доброго Евсея.

Разложив перед собою карту и водя пальцем взад и вперед, между Питером и Москвою, смотря по тому, куда переносился мысленно, Евсей Стахеевич остановился, съездив уже раз десяток взад и вперед, на Твери, — взглянул влево, на Малинов, и опять уже, как это так часто с ним случалось, напал на богатую мысль. Он решился выехать на Тверь, подумать дорогою, сообразить дело в Твери и своротить направо или налево — в Москву или в Питер — по обстоятельствам. Решено

и сделано; хотя, впрочем, и не совсем, как мы увидим это после.

Выходив согласие и одобрение Корнея Власовича, Евсей собрался и снарядился в поход. Когда пришлось ехать однако же, то он расстался не без грусти даже и с Малиновым. Правда, у него остался теперь там один только дом, в котором он был дома, а именно: собственное его жилище; семейство, к которому он было приютился и привязался, оставило Малинов навсегда уже за несколько перед этим времени. Но Евсей при всем том, уезжая навсегда из города, где жил несколько лет, немножко призадумался. «Если бы только, — подумал он про себя тихонько, — если бы люди эти были немножечко, чуть-чуть иначе, если бы не видеть своими глазами на каждом шагу, как всякая правда живет подчас кривою, да кабы они еще немножко поменьше сплетничали и надоедали и себе и друг другу, — так можно бы и жить и служить с ними; а этак, ей-богу, трудно. Был у нас председатель такой, что брал; нынешний, может быть, не берет, а все-таки правда наша держится только на убедительных доводах за подписью князя Хованского<sup>17</sup>, и выходит одна только путаница,

---

<sup>17</sup> То есть с помощью взятки, подкупа; шутливое выражение от украинского слова «ховати» — хоронить, прятать. Возможно, что это выражение ввел в литературный

что ину пору не знаешь, куда оборотиться, кому кланяться, кого просить и куда идти».

Так думал про себя Евсей и объехал по способу малиновских прачек и кантонистов все тридцать восемь домов, потому что он кобылку свою уже продал. Он прощался со всеми и благодарил всех чистосердечно и от души; а прощаясь с председателем своим, через силу перекусил и подавил упрямую слезинку. Правда, что прощание это и в самом деле кончилось некоторым образом плачевно; председатель изволил кушать чай на крыльце, в холодке, а Евсей, собираясь встать, все отдвигался со стулом своим назад, покуда наконец не полетел вместе со стулом тычком и навзничь с крыльца, передувив с полдюжины поросят, которые в Малинове пользуются полной свободой и довольствуются подножным кормом. Председательша, впрочем, успокоила испуганного Евсея, в то же время сказав: «Ничего, ничего, это не наши, это Пелагеи Ивановны, и я давно ей говорила, чтобы она не распускала поросят своих по всем дворам и по целому городу, а велела бы дворовым ребятишкам пасти их по пустырям». Перепетуи Эльпидифоровна, о которой упомянули мы выше, случилась тут же в гостях и сделала также с своей

стороны все, что могла, в пользу нашего бедовика: она советовала ему, если хочет лечиться по Килиану, натереть ушиб запросто пенником и тереть байкой досуха; если же он более доверяет Енгальчеву, то положить по равной части вина и уксуса и прибавить щепоть свинцового сахара<sup>18</sup>.

## Глава IV. Евсей Стахеевич поехал в Петербург

Евсей Стахеевич, укладываясь и усаживаясь в дорогу, был необыкновенно досужен, толков, распорядителен и заботился о вещах, которые, бывало, лежали вовсе вне круга его забот. «Не будет ли трястись, — спросил он у Власова, — крепко ли уложил ты съестной кузовок свой?» Власов тряхнул его раза два и с замечанием: «Малое толико движение дает» — поставил опять на место и приткнул сбоку дорожным, розовой лайки, кисетом своим, на котором изображен был какой-то вершник в латах и гора-горой головы зрителей, с подписью: турнил. На художническом произведении, на кисете этом, не взыщите за отступление, употреблено было всуе имя одного почтенного московского цензора.

---

<sup>18</sup> Свинцовый сахар — ядовитая уксуснокислая свинцовая соль.

Перепетуя Эльпидифоровна, рассудив, что молодой человек может пострадать по легкомыслию своему и от небрежения, прислала Лирову две бутылки с примочками. Власову, который отведаль и ту и другую, килиановская показалась гораздо лучше: енгальчевская кисловата и вяжет рот, килиановская, по мнению Власова, была родом из турецкой крепости Килии, во уважение чего он и нашел ей место между кузовочком и кисетом. В это самое время Козьма Сергеевич Мукомолов вспомнил и рассказал супруге своей, заливаясь хохотом, как Евсей Стахеевич поздравил его наперед с именинами, объяснившись при этом начистоту, что ему нет никакой нужды до чужих именин; и Перепетуя Эльпидифоровна в ту же минуту Елеську — бегом догонять посланного с примочками Ваньку и воротить его. Но Елеська опоздал: бутылки были уже вручены. Посланцы, и тот и другой, стояли, сняв шапки, поодаль от повозки Лирова и перешептывались, не зная, как тут быть. Наконец, решились они просить Корнея Власовича возвратить им примочки. Горюнов охотно отдал им енгальчевскую, но с килиановскою расстаться не хотел, а потому и объяснил, что она уже истерлась и почитай вся. Перепетуя Эльпидифоровна рассуждала об этом происшествии очень много и рассказывала и трезвонила по целому городу,



между тем как нашему бедному Евсею икалось от какой-то поганой окрошки уже за Вязьмой. Пелагея Ивановна, супруга командира гарнизонного батальона в Малинове, прислала, однако же, фельдфебеля своего еще вовремя: Евсей только что заносил другую и последнюю ногу свою в телегу. Пелагея Ивановна приказала кланяться, велела просить целковый за два искалеченных поросенка. Не удивляйтесь этому: Пелагея Ивановна, как известно целому городу, незадолго до этого взыскала три рубля без вычета на ассигнации с неосторожного соседа своего за хохлатую и мохноногую курочку, которую задушила его борзая. Лишь только Евсей достал худощавый кошелек свой и запустил туда пальцы за целковым, как запыхавшийся слуга дворянского предводителя, в ливрее, без шапки, подал, кланяясь и улыбаясь и желая счастливого пути, вычищенные в лоск старые истоптанные калоши, которые Лиров позабыл намедни после балу. Все это происходило на счет выданного Евсею единовременного годового жалованья. Корней ворчал вслух, а все-таки нашел место и калошам, а именно: между кузовочком, кисетом и примочкой. Наконец Корней Горюнов взлез на телегу, сел, перекрестился, надел шапку, ямщик свистнул, тряхнул вожжами — и колокольчик зазвенел. Все жители Малинова вдоль Песчаной улицы, как значилась она на чертеже, или

Вице-губернаторской, как обыкновенно ее называли, ложились в растворенные окна и высывались по самые чресла, чтобы посмотреть, кто поехал или приехал. Кто не поспевал на зов колокольчика вовремя к окну или не мог признать Лирова в лицо, посылал тотчас же за справкою к соседям или на почту. Вице-губернатор советовал супруге своей, которая ожидала в это время сына в отпуск из армии и очень испугалась, нечаянно слышав Колокольчик, — советовал было послать за инспектором врачебной управы; но она, то есть вице-губернаторша, предпочла написать Перепетуе Эльпидифоровне французскую записку, которую ни сам Мукомолов, ни супруга его не могли разобрать, потому что они оба вместе и каждый порознь не знали ни слова по-французски. Перепетуя Эльпидифоровна, однако же, с помощью ближнего дозналась, что вице-губернаторша просит каплець от испуга, и сама отвезла ей Килиановы мятные и Енгальчева эфирные капли. Мокрида Роховна или Роговна, как ее обыкновенно звали, полуполька, супруга инспектора врачебной управы, узнала об этом событии и при первом случае не оставила кольнуть как вице-губернаторшу, так и в особенности лекарку, Мукомолову; эта сказала где-то в оправдание свое, что инспектор управы переморил уже более людей, чем у него седых волос на голове, что опять, в свою очередь, дошло

до Мокриды Роховны, и вот с чего обе дамы эти разошлись очень нехорошо, так что, не говоря уже о бывалых вечерних посещениях, полтора года сряду не почтили даже друг друга визитом и помирились только по вновь предстоявшему рекрутскому набору. Кто загадки этой не понимает, тому надобно напомнить, что Мукомолов — зажиточный помещик, а инспектор врачебной управы не последнее лицо при приеме рекрут; в нынешний набор, который, на беду, случился вскоре после ссоры дам, Перепетуя Эльпидифоровна дорого поплатилась: и очередные и подставные — все с забритыми затылками воротились восвояси, и Козьма Сергеевич всех мужиков своих возил поочередно за полтораста верст на выбор в рекрутское присутствие. Инспектор управы, обрусевший венгерец, был один из тех людей, у которых так называемая голова была особенного устройства: где едят — пошире, а где думают — поуже; собственно же голова его, не в переносном, а в прямом смысле, заключалась, как у рака, в желудке. Несмотря на это, однако же, как мы это сейчас видели, его на управление своею частью доставало.

Что подумал и заговорил Малинов о Евсее Стахеевиче по отъезде его? Евсей был не великой спицей в колеснице, но все-таки отъезд его из Малинова составляет некоторым образом событие,

потому что в тесном кругу стесняются и мысли; политикой мои малиновцы не занимались вовсе, за что я их от души похвалю; а между тем каждый божий день надобно же было о чем-нибудь поговорить! Общего во мнениях и разговорах об этом предмете было только то, что Евсей был всегда чужак, и это без всякого сомнения вина виноватая. Но к этому прибавляли разные разное: губернатор сказал как-то, что Лиров был хороший чиновник, но иногда забывался. Не знаю, как понять это выражение: если его отнести к забывчивости и рассеянности Лирова, то и это некоторым образом справедливо; если же почтенный губернатор хотел намекнуть на недоразумение, возникшее когда-то по поводу отношений и рапортов, то губернатор опять-таки прав, потому что Евсей, видно, в отношениях своих горько ошибался. Инспектор врачебной управы говорил, что это такой человек, с которым нельзя ни связываться, ни знаться. Советники поглядывали с недоумением друг на друга и на подчиненных, как будто кого-то не доискивались. Души, крещенные в чернилах, повитые в гербовой бумаге, молчали и, кажется, даже ничего не думали. Мы оплатим им тем же. Только председатель гражданской палаты, служивший по выборам и уезжавший теперь опять в свои поместья, говорил: «Да, если бы я оставался на службе, я бы этого человека не упустил». Для

барынь Евсей Стахеевич был какой-то неловкий, темный молодой человек, который самым неприличным образом и без всяких обиняков бегал от партии, то есть не от виста, — к этому уже привыкли и было много охотников и без него, — но от пары, от невест, а и пуще того от свах. Для девиц, которые, как вы уже знаете, всегда и везде очень сострадательны, Лиров был какой-то жалкий молодой человек, но не противный. Изо всего этого вы ясно видите, что думы свои Лиров берег, большею частью по крайней мере, про себя и увез их с собою; иначе, вероятно, был бы он помянут не тем и не так.

Теперь, когда мы уже знаем, что именно малиновцы думают о Евсее Стахеевиче и что думает Евсей Стахеевич о малиновцах, последних можно оставить на несколько времени в покое и заняться опять первым. Я вам могу сказать приблизительно наперед, по местным соображениям, что между тем сбудется и произойдет в Малинове. Единственный в городе булочник, который пек сухари и так называемый французский хлеб, вскоре уезжает, и потому оборотливое предприятие Перепетуи Эльпидифоровны посадить в Малинове своего хлебника, обучавшегося в Москве, увенчается полным успехом; во-вторых, новый чепец, или, если не ошибаюсь, наколка, которую выписывает

вице-губернаторша прямо из Петербурга, дорогою растряслась, ящик разбит, и наковка приедет в самом отчаянном положении. За это почтмейстерше не миновать разных колкостей; тут уже, не входя ни в какие разбирательства и не принимая никаких отговорок, станут бранить в глаза и за глаза губернского почтмейстера или, что еще основательнее, его супругу. А наконец, полицейместерша, вероятно, вскоре раззнакомятся с супругою первого члена межевой конторы, по крайней мере я так догадываюсь, судя по слухам, дошедшим до меня через губернскую повивальную бабку, которая одарена в высшей степени прозорливостью и соображением и знает многое, чего мы не знаем. Аптекарьша наша не так основательна: заключения и выводы ее нередко бывают опрометчивы, потому что она все прикидывает на свой ревельский аршин.

О поездке Евсея от Малинова до Твери занимательного можно сказать немного: чем ближе подъезжал он к московской большой дороге, тем чаще доставал кошелек, тем дороже обходился каждый привал и перегон; а наконец, если не ошибаюсь, в Борисковом, где прождал он час лошадей, не спросив ничего, кроме стакана воды, заплатил хозяйке четвертак за беспокойство. До самой Твери потешливая судьба, казалось, потеряла из виду всегдашнюю игрушку и забаву свою,

бедного Евсея; но в самой Твери она опять выследила его, привела голодного и усталого в изрядную гостиницу и заставила съесть какой-то биток, который подается, сказывают, в обертке, — совсем с бумажкой. Евсею никогда не случилось видеть блюдо это; он привык есть сплошь и подряд все, что ему ни подавали, и заканчивал обыкновенно на том блюде, которое заставляло его сытым; и если бы котлетку эту подали не только в обертке, но даже в корешке и в переплете, то он, вероятно, искрошил, изрезал и съел бы ее так же точно, как и теперь. Но случай этот заставил много хохотать притомных свидетелей, несколько молодых офицеров. Через две минуты вся дивизия, с киями и трубками и стаканами в руках, входила поочередно из биллиардной и рассматривала заезжего уездного чудака, который съел котлетку с бумажкой. Подученный офицерами слуга, переменяя тарелку, объяснил Евсею с лакейской вежливостью и приемами, что он изволил скушать бумажку. Евсей слушал его преспокойно, уставив на него выразительные черные глаза свои, и сказал только наконец:

— Так сделай милость, братец, подавай мне, покуда я голоден, одно съедомое: бумагами сыт не будешь, это я уже знаю давно.

Между тем рядом, в биллиардной, раздавалось только сквозь шум и говор и хохот: «Семь и

двадцать один, девять и двадцать пять», да остроты преусатого корнета, который замечал каждый раз, когда биллия не была сделана: «А, этот широк в плечах, не полез в лузу!» В промежутках же то один, то другой заглядывали опять в боковую дверь на уморительного чужестранца, не утомляясь одними и теми же чередными остротами насчет бумажной котлетки. Евсей почувствовал, что он как-то не в своей тарелке, опомнился и рассудил, что ему в Твери искать вовсе нечего, и велел закладывать.

По московской дороге в лошадях остановки не бывает никогда, даже и без подорожной, а платят тогда только вместо восьми по десяти копеек с версты и с лошади; но староста спросил Корнея Власова, куда ехать, потому что из Твери лежит в разные стороны шесть почтовых дорог и чередные права ямщиков требуют этого сведения. Горюнов, ни на одну минуту не призадумавшись, отвечал: «Куда? Разумеется, в Питер». Староста, оборотясь к ямщикам, сказал: «На Медное». Повозку заложили, Евсей сел и поехал и тогда только вспомнил, что он из-за бумажной котлетки, которая столько ему досадила, не опомнился еще и не успел решиться, ехать ли в Москву или в Петербург. На вопрос его: «Куда же мы поехали?» Власов отвечал так же спокойно, как и прежде: «Куда? Разумеется, что в Питер», — и Евсей замолчал, решась предоставить



участь свою судьбе и Корнею Горюнову.

## **Глава V. Евсей Стахеевич поехал в Москву**

Лиров впервые ехал по московской дороге и испытал почти всю тягость своевольных и крайне бестолковых ямщичьих обычаев и условных постановлений. Почти всю, потому что Лиров ехал на перекладных, а следовательно, нельзя было ни впрягать лишних лошадей, ни, обступив толпою коляску, отвертывать и раскачивать винты и гайки, чтобы потом указать барину: «Вот у вас, видно, винт-от потерян», — и заставить заплатить целковый за ту же самую, перекаленную только в огне, гайку.

Неопытному ездоку на московской большой дороге беда: дорога эта — преддверье обеих столиц, мужики и ямщики на этом огромном распутье сделались уже какими-то прощелыгами и мастерски обирают и осударивают проезжих. Даже весь порядок на ямах, эти запутанные очереди или круга, как называют их ямщики, потом бесконечные споры, крик, шум, жеребьи, кусаные или меченые гроши и мерянье по постромкам, передачи или столь известные слазы, которые состоят в том, что при каждом колокольчике сбегаются десятка два-три ямщиков и, решив после

долгого спора, за кем очередь, начинают торговаться, продавать и покупать седока, — все это может истощить терпение самого кроткого, миролюбивого человека. Покуда бесконечные сделки и проделки эти не кончились, вам лошадей нет, хотя их на яму, может быть, стоят до сотни троек; при каждом приезде и на каждой станции открываются при вас снова эти торги и переторжки, и тут уже не действуют ни просьбы ваши, ни угрозы, ни даже волшебное в других обстоятельствах «на водку», потому что, покуда не решено еще, кому ехать, никто гривенником вашим не прельстится. Его взять возьмут, но дело от того вперед не подвинется. Спрашивайте сто раз старосту — и его не выдают: он стоит тут же — в этом вы можете быть уверены — и кричит громче всех; но вам отвечают, что он пошел наряжать ямщиков и что его нет. Смотрители не хотят, да и не могут совладать с этими нахальными горлодраями и не имеют обыкновенно никакого на них влияния. Прибавьте к этому еще, что у них идут всегда какие-то две очереди вдруг и есть, кроме того, какой-то вольный, передаточный круг, от которого вас да избавит бог, и вы согласитесь, что это бестолковщина и путаница в высшей степени.

Евсей Лиров попадал в ловушку на каждом шагу, несмотря на все старания и хлопоты Корнея

Горюнова, который наконец уже и сам выбился из сил, спасовал и пошабашил, потому, как уверял он, что не военному и еще не по казенной надобности ездить не годится. Евсея передавали с рук на руки, торговались и продавали на каждой станции, после каждого перегона сызнова, рядились всегда до какого-нибудь города, вымаливали и выманивали хотя половину прогонов наперед, чтобы его не беспокоить ночью к расчету, а после заставляли уплачивать сверх прогонов все привески и недовески, которые, по взаимным расчетам, скоплялись на последней станции, и, уверяя нахально в глаза, что это было по ряду и в уговоре, не везли дальше, между тем как тот, с кем Евсей рядился, покинул его на том же месте, продал, взял слазу и после того сменилось уже на том же основании пять или шесть человек.

Таким образом Евсей Стахеевич наконец добился до Чудова, за пять только станций от Петербурга, как вдруг проняла его дрожь, когда прочитал он на столбе, что осталось всего сто одиннадцать верст. Страшно было подумать нашему Евсею, что через какие-нибудь полсутки будет он в столице, в этом вихре, водовороте, в этом исполинском смерче кипучей жизни, где всё и все ему чужие, все, от первого до последнего. Куда там приютиться, каким путем начать искать место, куда, к кому обратиться... «Стой, — подумал

Евсей, — надобно пособраться с силами и с духом, приготовиться да сообразиться, дела этого рода так не вершатся. Я думал ехать в Москву, меня повезли в Петербург, и я не успел еще опамятоваться». И, покинув повозку свою у чудовского почтового дома и верного стража, неизменное копые свое при ней, отправился он пешком куда глаза глядят, пройтись и подумать, Корней Горюнов выспался, потом встал, умылся, набил трубочку свою, присел у подъезда, начал преобширный разговор с ямщиками и рассказал им почти всю службу свою с начала и до конца. Началось тем, что слуга гостиницы спросил, где ночевали, а Власов отвечал преспокойно и не оглядываясь: «Под шапкой»; потом разговорились, зачем и куда едут, и вот Корней Власович уже рассказывает слушателям своим, что прежние времена не нынешние, что прежде бывало много дивного, а нынче — что, и прочее, Между тем, однако же, настал вечер, смерклось, Корней Власов давно уже покончил рассказы свои, а барина его нет. Стемнело вовсе, и Власов начинает уже крепко беспокоиться: «Это, — говорит, — дивное дело, о сю пору, хоть бы и потонул, прости господи, где-нибудь, так бы уже давным-давно на воду всплыл; а его таки все нет да нет; диковина, да и только!»

Но диковина, как это почти всегда случается, объяснилась очень просто. Евсей задумался туюю

думую, пустившись по дороге направо, в село Грузино<sup>19</sup>, шел да шел и все думал да думал. Ему как-то тесно стало на чужбине; он вспомнил о семействе, к которому было так крепко привязался, стал припоминать все былое и минувшее, хотел забежать и заглянуть вперед, что будет, чего ожидать, — наткнулся мысленно опять на всегдашнюю участь свою, не блестящую, не завидную, и догадался, что он просто бедовик, которому, видно, на роду написано маяться и перебиваться до последнего дня своей жизни. Хорошо, если бы нам позволялось заглядывать таким образом иногда вперед, в конечные страницы таинственной книги судеб; хорошо, а может быть, и очень худо, если бы можно иногда предугадывать назначение свое и участь; но как бы то ни было, а Лиров думал, что заветная тайна перед ним раскрылась, что ему почти нечего искать, нечего ожидать. Эту грустную думу донес он наконец до села Грузина, куда дошел без умысла, без намерения; но, дошедши туда и оглянувшись и услышав, что это село Грузино, Евсею, согласитесь сами, можно было и подумать и призадуматься. У него в голове стало тесно, в груди душно. Утомившись до крайности, нашел он наконец на

---

<sup>19</sup> Село Грузино — было центром аракчеевских военных поселений.

обратном пути своем мужика, который его подвез до места; и вот почему Лиров явился в Чудове уже близко полуночи.

Около того же времени приходит в Чудово и петербургский дилижанс.

Когда Лиров возвратился, два дилижанса, четырехместная карета и огромная шестиместная колымага, стояли под крыльцом почтового дома, а ямщики закладывали. Погода была очень тепла и хороша; месяц на убыли взошел с час тому назад, и три женщины прогуливались взад и вперед помимо крыльца в ожидании запряжки. Лиров остановился рядом с верстовым столбом, и отныне, более чем на четверть часа времени, у Чудовой станции стояли не один, а два столба. Мы знаем уже обычай Лирова, созерцательную способность его стоять, и глядеть во все глаза, и думать про себя и больше ни о чем не заботиться; поэтому нас два столба эти не удивят: ни тот, который стоит уже многие годы в неизменном пегом кафтане своем и не думает, вероятно, ни о чем, ниже другой, в черном сюртуке, с острыми карими глазами, который столько досаждал и себе и другим всеми странностями своими и затяжною думою.

Наконец мужчина средних лет со звездой подошел звать барынь в карету и взглянул при этом на притаившегося соседа своего, на Лирова, так незастенчиво, что недоставало к этому только

вопроса: «А тебе чего тут надобно?» Потом, оборотясь к попутчицам своим, спросил по-французски: «Не попросить ли и его также в карету?» В это самое время Корней Власов, не видя еще впотьмах барина своего и приложившись с отчаянья и нетерпенья к килиановской, рассказывал ребятам, что, бывало, в походе идут они, то есть пехота, в страшную слякоть, в дождь, да месяц грязь по колено, а конница и пуще того кирасиры обходят их подбоченясь да только знай покрикивают на них: «Не пылить, ребята, не пылить!» Бедный Евсей вздохнул втихомолку и применил рассказ старого служивого к себе и к надменному насмешливому звездоносцу. «Что, я ему мешаю? Разве и солнце и луна не для всех нас равно светят, куда бы луч их ни упал? Разве природа освещает лучом этим предметы исключительно для каких-нибудь избранных любимцев и баловней своих, а не ради всякого, кому чадолюбивая дала зеницу ока? Неуместная зависть и горькая, несправедливая насмешка! Что трудовой и бедовой пехоте отвечать на это надменное „не пылить“?»

Так-то заносился думами наш Евсей Стахеевич и все еще стоял на одном и том же месте, когда и карета, и кавалер ордена звезды, и предмет, на котором Лиров созерцал так благоговейно отражающийся лунный луч, давно уже умчались из

вида. Колымага еще стояла все тут же; одна барыня, из числа клады, занемогла и упросила спутников своих дать ей часа два отдыха и покою.

Власов непритворно обрадовался, увидав наконец своего барина, и рассказам и объяснениям Корнея не было конца. Раз десять принимался он рассказывать, как он дивился и дивовался, что нет барина; что за пропасть фу ты пропасть — эка подумаешь и прочее. Евсей отвечал на все это мало, почти ничего и, задумавшись, пустился было опять по образу пешего хождения, как изъяснялись в Малинове, и пустился прямо по дороге туда, куда покатила карета. Но Власов поймал его за полу, снял перед ним шапку и побожился, что не пустит его более никуда; потом выпустил из правой руки полу и перекрестился, побожившись еще раз, что не пустит, а после всего этого уже стал уверять и божиться, что пора ехать, что их в Питере, чай, давно уже ожидают и так далее. Не знаю, поверил ли Евсей последнему обстоятельству, но по крайней мере он не мог противиться решительным мерам Корнея Горюнова; понял слова: «Ей-богу, не пущу, вот те Христос, не пущу» — и воротился назад. А вошедши в гостиницу, он и сам немало изумился, когда один из старых и давнишних знакомых его, о котором поговорим после, вскочил со стула и вне себя от радости обнял и облобызал его с восторженными восклицаниями и исступленными



возгласами. Малинов, Москва, Петербург, Грузино, карета, луна на ущербе, новый приятель — все это сбилось и смоталось в голове Лирова в огромный клубок, которым, казалось, голова его набита туго-натуго, так что ни для какой думы не было более места, иначе Евсей Стахеевич был бы почти готов подумать хорошенько, Власов ли или уж не сам ли он, Лиров, приложился сегодня с горя к килиановской? Между тем, чтобы говоривши долго да коротко кончить, все это вместе, и Чудово, и Питер, и Москва, и Малинов, и Грузино, и карета, и луна, и дилижанс, и новый приятель, — все это снова распуталось и приняло в уме и памяти Лирова настоящий толк и смысл, когда он, Лиров, уже около рассвета сладко дремал, сидя в том же самом дилижансе, который стоял перед Чудовым почтовым домом, а теперь ехал в Москву. Итак, Корней Власович, поворачивай оглобли да поезжай в Москву, а в Питере еще подождут.

## **Глава VI. Евсей Стахеевич поехал в Петербург**

Вот изволите ли видеть, как дурен этот обычай делать наперед уже надпись или заголовок перед каждой главой! Евсей Стахеевич только что отправился с дилижансом и старым приятелем своим в Москву, а тут, вслед за тем, уже поневоле

пророчишь, что он опять поедет в Петербург. Надобно, однако ж, пояснить еще первое обстоятельство; и вот как все это случилось.

Евсей Стахеевич вошел в первую комнату гостиницы Чудовой, как вдруг невысокий черноволосый мужчина в зеленом мундирном сюртуке с желтыми пуговицами, с дорожною трубкою в руках кинулся его обнимать. Лиров узнал старого своего сослуживца тех инстанций, о которых мы уже говорили, упомянув о тав-линках и бумажных платках. Это был запросто Иван Иванович, и даже по прозванию только Иванов, бывший писец и бесчиновный — чтобы не сказать бесчинный — служитель жировского земского суда. Ивану Ивановичу стало тесно в земском суде, — да, признаться, ему и письмо как-то не давалось; он вышел на простор, пошел искать счастья по белому свету и попал, как видно, на большую дорогу. Лиров с тех пор потерял его из глаз и из памяти; встреча эта при нынешних обстоятельствах все-таки обрадовала Евсея; по крайней мере знакомое лицо, если смею назвать так Иванова; а Евсею уже тяжело становилось на чужбине и грустно. Он, разумеется, полюбопытствовал узнать звание и место бывшего сослуживца своего, который разъезжал себе так важно в дилижансе между обеими столицами, так развязно, так ловко принял старого знакомца и

распоряжался в почтовом доме как дома, приказав уже подать на радости бутылку лучшего вина, — слово за словом, и Евсей услышал собственными своими ушами, что Иван Иванович, которого он считал по виду, по осанке, по обращению по крайней мере титулярным советником, если не коллежским асессором, что Иван Иванович просто-запросто кондуктор, проводник дилижанса. «О, — подумал Евсей про себя, — при всем уважении моем ко всякому состоянию и ремеслу, даже к знанию проводника дилижансов... но если попытка уездного жителя видеть свет и служить в столице сулит такое или подобное этому блестящее поприще, тогда... тогда...» Но Иван Иванович тряхнул Лирова за локоть, которым этот подперся было, повесив голову, — тряхнул, раскачал и растолкал его дружески, понуждая выпить чудное вино. Но Лиров заметил презрительную улыбку старика трактирщика, колченогого голштинца, в ответ на запрос Иванова и прочел на ярлыке, хотя и мало смыслил толку в винах, что цена этому чудному вину назначена была восемь гривен. Между тем Иванов, не спросив даже того, за чье здоровье опорожнил уже полбутылки этого красного ротвейна, то есть Лирова, куда и зачем он едет, где служит, как служил доселе и прочее,

принялся сам рассказывать ему о кунсткамере, которую теперь, к сожалению, разорили<sup>20</sup>, и о Грановитой палате, которую привели в положение<sup>21</sup>; о памятниках Петру Великому, Минину и Суворову с Пожарским; о самородковом столпе Александра Благословенного<sup>22</sup>; о царь-колоколе, выставленном недавно на фундамент<sup>23</sup>, и об Английской набережной, на которой лежат две свинки<sup>24</sup>, огромные, как

---

<sup>20</sup> Кунсткамера (кабинет редкостей) — первый естественнонаучный музей в России, основанный Петром I в 1714 году. В 30-е годы XIX века из нее выделились в самостоятельные учреждения Анатомический, Ботанический, Зоологический и др. музеи.

<sup>21</sup> Грановитая палата — замечательное произведение древне-русского зодчества, созданная в конце XV века в Московском Кремле. Внутренняя отделка ее много раз возобновлялась.

<sup>22</sup> Имеется в виду Александровская колонна, воздвигнутая на Дворцовой площади в Петербурге в 1829–1834 годах по проекту А. А. Монферрана, в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

<sup>23</sup> Крупнейший в мире колокол, весом свыше 200 тонн, отлитый в 1733–1735 годах, был водружен на гранитный пьедестал в Московском Кремле в 1836 году.

<sup>24</sup> ...Лежат две свинки... — сфинксы. Находятся не на Английской набережной (ныне набережная Красного флота), а на правом берегу Невы, перед Академией художеств. Здесь в

значится и в самой на них надписи; о Красной площади и об Эрмитаже, — и везде он был, и все видел, и везде принят как дома. Он продолжал в этом духе, покуда наконец староста пришел доложить, что ямщики не хотят долее дожидаться и просят позволения, коли господа не поедут, отпрячь лошадей. Между тем и Власов доносил, что повозка давным-давно заложена и что пора, ей-богу пора ехать. Иванов вскочил, побежал опрометью и прилетел с известием, что больной барыне полегче и что она собирается в поход. Ли-ров стал прощаться, но Иванов не хотел этого слышать. «Сошлись, — говорил он, — через восемь лет и старые товарищи и приятели, а теперь разбежаться врознь! На что это похоже?» И при этих восклицаниях размахивал он руками, словно мельница, и сшиб со стола кожаным картузом своим порожнюю бутылку. Лиров невольно отскочил и наступил на ногу содержателю гостиницы, старому подагрическому немцу, который подкрался было к столу, чтобы прибрать роковую бутылку эту, и теперь раскричался, разохался и растопался, как будто настал его

---

1832–1834 годах был сооружен гранитный спуск к реке и на верхней террасе установлены два высеченных из гранита сфинкса. Они были найдены при археологических раскопках на месте древней столицы Египта Фив и приобретены русским правительством.

последний час. А бедный Евсей уже стоял, и кланялся, и просил, и извинялся.

— Ну полно, полно, — продолжал Иван Иванович, — ведь Иван Иванович не сердится, я его знаю, он тезка мой и старый приятель! Послушай же меня, Стахей Сергеевич, — так, кажется, зовут тебя? Не откажи другу, поедем вместе!

— Да послушай же и ты, — отвечал Лиров, — я еду в Петербург, а ты в Москву; как же нам ехать вместе?

— Да зачем же ты едешь в Петербург?

— Искать места, хочется попытаться, не удастся ли пристроиться.

— Где? В Петербурге? Место? Пристроиться? Да какие там в Петербурге места?

— Какое найду; побьюсь, поколочусь, мне не привыкать стать; авось добыюсь.

— Где, в Питере? Да какие там места, говорю я тебе, какие места в Питере? Нет ни одного; кто ж там у тебя есть, дядя сенатор, что ли?

— Хоть бы лавочник какой был, так я бы и за то спасибо сказал: было бы у кого пристать. Нет, я так еду, на вывези господь; у меня нет там никого.

— Шут ты прямой, да и только! И нашел же где искать места, в Петербурге! Стало быть, у тебя нет там никакого дела больше, никакой нужды?

— Да, никакой больше, дай бог и с этой одной

управиться.

— Так полно бредить, коли так, поедем вместе, у меня в моем дилижансе и четвертые места оба порожние; садись да поедем; все равно, чем ехать порожняком, подвезу, да уж зато на выбор дам тебе место в Москве, какое захочешь. Да! В Питере нашел место!

Евсей подумал: «Врет-то он врет, что место даст, это я знаю; коли сам в проводниках, так, видно, и у него нет дяди в сенаторах; да ведь, правду сказать, мне что Москва, что Петербург — оба равны; коли человек берет с собою, и еще даром, и познакомит меня, может статья, хоть с кем-нибудь в Москве, — почему уж не ехать? А говорят, действительно трудно найти место в Питере, да я и сам говорил это наперед Власову; сверх всего этого, мне как-то душа говорит, что мне надо бы ехать в Москву...» Тут луна на ущербе и что-то темное, неясное, несвязное мелькнуло в воображении Лирова, но он решительно ничего об этом не думал, не рассуждал, а сказав сам себе: «Нет, все это вздор; доехав за сто верст до Петербурга, было бы слишком смешно и глупо воротиться в Москву, когда и тут и там виды и надежды мои одинаковы: поеду в Питер». Сказав это сам себе, спросил он только Иванова, вовсе сам не зная, что говорил:

— Да как же быть, у меня телега заложена и

со мною человек...

— О, об этом не заботься, это мое дело. Это мигом уладим.

И Лиров не успел ни опомниться, ни очнуться, как Иванов велел отложить телегу его, дал Власову какую-то записку на место в сидейке, которая должна была прийти, по словам господина кондуктора, через час или полтора, обнял и усадил Евсея с заднего крыльца в рыдван свой, и кони уже мчали его на Спасскую Полесь, в Москву.

Евсей распустил на досуге поводья вольной вольнице своей, этой докучливой для нас уносчивой думе, прищурил глаза и после проходки в Грузино и беспокойной ночи заснул на зыбком рыдване мертвым сном и проспал два или три перегона до самого Новгорода. В крепком и продолжительном сне прошел он снова все инстанции своего служения, подавал секретарю и членам огня и набивал трубки, наливал чернил, между тем как сторож отбирал у двух товарищей его, по приказанию секретаря, сапоги; потом перепечатывал, как наборщик, бумаги, глухо и слепо, не заботясь о содержании их, потом сидел уже сам за зеленым сукном и так далее. Но все это было озарено каким-то новым, таинственным светом; и везде и всюду видел он теперь в углу в ките, на обычном месте, какую-то ангельскую головку, которая завесила душеспасательные очи



свои темными ресницами; Лирову хотелось помолиться, но откуда он к ней ни заходил, никак головка эта не хотела на него взглянуть, упорно потупив взоры. Вот около чего вертелись грезы его во всю ночь. Спросите, пожалуйста, снотолковательниц наших: что значит этот сон?

Дилижанс остановился в Новгороде, и Евсей, проснувшись и потянувшись, стал ощупываться и оглядываться, припоминая все, что над ним сбылось: казалось, все было хорошо и благополучно, а между тем Евсею как будто чего недоставало, было что-то неладно или нездоровилось. Для приведения этого обстоятельства в ясность он объяснился сам с собою откровенно, и по справке оказалось, что он был просто-запросто голоден. Итак, он позавтракал в гостинице, а доставая деньги на расплату, увидел, что с ним была только одна мелочь, а бумажник хранился у казначея, Корнея Горюнова. «Надобно, — подумал Евсей, — рассчитать, чтобы стало до Москвы». В Валдае, однако же, довольно пригожая девушка уговорила его еще купить колокольчик с надписью: «Купи, денег не жалея, со мною ездить веселей»; а другая с приговорками: «Ты мой баринушка, красавчик мой» — втерла на двугривенный баранок. Отроду в первый раз Евсея назвали красавцем; ему это показалось так забавно, что он купил баранки и грыз их дорогою, улыбаясь

выдумке затейливой продавщицы. Но в Вышнем Волочке Евсей пожалел уже о своем мотовстве, потому что вспомнил еще одно неприятное обстоятельство: где найдет его Корней Горюнов в Москве и скоро ли еще до нее доволочется? Власову вовсе не сказано было, где искать барина, да и барин еще сам этого не знал. Поэтому Лиров проехал Торжок не торговавшись, а притворясь спящим, не купил ни одной пары гнилых бараньих сапожков, хотя они продавались за козловые и были ему очень нужны. Лиров был один из тех людей, которые иногда целый год не думают мотать, даже не решаются купить и необходимое, но зато, пустившись однажды в покупки, готовы закупить все, что ни видят глазами. В Твери Евсей забыл вовсе о бумажной котлетке, вошел в гостиницу и спросил было поесть. Но когда в биллиардной раздалась во всеуслышание весть, что «уморительный чужестранец, который съел бумажку, опять прибыл», то Лиров воротился в дилижанс и завалился спать. Долго слуга гостиницы ходил, и высматривал, и искал барина, который спрашивал закусить; но Евсей сам себя не выдавал и поел уже в Городне.

В Черной Грязи, то есть на последней станции к Москве, словоохотливый Иванов наконец счел нужным объяснить с Лировым. Взяв его под руку и отшед в сторону, сказал он: